

Он жил ответственно

Смешно звал в гости: изломанным почерком левши записывал тебя в какие-то свои кондуиты, проверяя по глазам, в полной ли мере ты оценил свою избранность, потом справлялся по телефону, не забыл ли ты и, кажется, готов был спросить, сумел ли ты настроиться на встречу с ним. Правда, смешно? Но еще смешней, что сам-то он безусловно ко встрече с тобою готовился и именно на тебя, кто бы ты ни был, настраивался. Отношения с людьми вряд ли составляли смысл его жизни; но раз уж они в эту жизнь входили, это становилось для него занятием, то есть, как библиотека и театр, требовало обдумывания и душевных вложений.

Был редкостно неформален: все его связи — с учениками, товарищами, женщинами, спектаклями, Богом — были отношения, причем строго индивидуальные. Что именно ты в нем видел, явно зависело от того, что и как связывало с ним именно тебя. Пишу и жалею, что, глядя на него чуть снизу и сбоку, всегда уважал его и часто им любовался: его эгоцентризм и занудство, способность хамить и подозрительность были невыносимы, но о них имеет право сказать только талантливый человек, сумевший сохранить к Е.С. живую, полноценную неприязнь — слава Богу, Калмановский, как немногие, такое чувство уметь вызывать. Не о "слабостях" речь, то не периферия его натуры, а нечто важное и близкое ее сути, но я об этом могу лишь догадываться.

Еще догадываюсь, что жизнь для него была дар не случайный и не напрасный, а может, и вовсе не дар. Во всяком случае, когда он относился к себе неприлично серьезно, это не зря; настойчиво пытался

свою жизнь (и жизнь вокруг себя) организовать — не из прихоти, а потому что за себя и за жизнь отвечал. В последние годы, похоже, перед Богом, но если и перед собой, почти ничего не менялся: он жил ответственно.

Как-то при мне подошел к приличному взрослому человеку, стал его сверлить взглядом, остался недоволен и промолвил: слушай, а ведь ты, похоже, сволочь, а? Зачем он тыкал малознакомому дядьке, почему не осведомился, интересуется ли тот мнению Калмановского о его нравственности? Поскольку мужик растерялся и отошел, вопросы эти задал я. Калман сильно удивился: да ведь ему почудилось дурное — как же было человека по-товарищески не остеречь! Он отвечал за него, понимаете?

Учил. Тревожно, но терпеливо, годами. Учеников тщательно выбирал. Мог выбрать умных и талантливых, а мог просто назначить умным и талантливым — и учил. Был строг. Чернышевского с Салтыковым навсегда отверг за нигилизм. Лескова, понятно, вознес.

Имел место имидж. Элегантный, стройный, узковатый, в безукоризненных пиджаках и одноцветных рубашках без галстука, верхняя пуговка застегнута. К давней короткой седине очень шло. Нам это следовало видеть, но делалось не для нас, то был элемент самоорганизации. Собой же надо было заниматься честно и неотступно. Если

временами из тебя исторически выдергивается черт, это неправильно, недолично: в человеке все должно быть прекрасно. Смущавший многих интерес его к русскости почти, наверное, тоже имел внутренние причины — он не понаслышке знал, какая грозная штука карамазовщина; значит, ему надо было заняться. Он и русским был осознанно и ответственно.

Как ни банально, он один из его же первоклассных текстов. В них страсть к истине и к истине искусства; страсть на моих глазах обращается в прихотливую, но не прерывающуюся мысль; в них след труда как знак возделывания, знак культуры.

Я знаю, это еще знак уважения к предмету, к себе как мастеру и ко мне. Но есть, кажется, какое-то потаенное напряжение между этой отличной выделкой и той Органичностью, что смолodu была для него идеалом и главной целью поисков.

Если б мог, он устроил бы пространство своей жизни между Чеховым и Станиславским. Но, разумеется, сам бы устроил, лично. Как свободен, как умен и своенравен он был, когда думал о Станиславском! В "Книге о театральном актере", последнем большом его театральном труде, Станиславский не потолок, а скорее тот самый тоннель, в конце которого свет. А в начале темно и страшно, потому что в самом основании ложь: Вы есть Вы, а чувства другого человека. Перевопло-

щение? Ничего специфического для театра в нем нет, на этом не продержаться. Есть человек на сцене и есть его связи, их множество, разобрать и разделить их можно только теоретически, на самом деле они набегаяют, странно отражаются одна в другой и в душе; все на сцене, конечно, меняется по известным законам, но это законы сложного и коварного процесса. Прилежно читая Калмановского, так и хочется понять, что самое драматическое на сцене вовсе не пьеса, а то, чем, как и зачем там живет актер.

По происхождению литературовед первоклассной школы, он постигнул в театроведы, числился известным театральным критиком, сам себя именовав театральным писателем и во всех своих занятиях был исследователем. А результаты исследований должны стареть — преодолеваются кем-то следующим. Что в остатке? В давние советские времена вычитал я, как С. Лем ответил на старый русский вопрос: смысл жизни, сострил он, в борьбе с энтропией. Между тем, она закон природы, с ней бороться нельзя. Чтобы лезть в эту борьбу, воистину надо, как кто-то злобно обозвал Е.С., быть городским калмановским. Таким, благодарение Богу, Калмановский и был: талант, ум, душа пошли на то, чтобы "разница потенциалов" не погасла, почти без надежды на признание вложены в успех нашего безнадежного дела. Пусть там, где он сейчас, его не столько простят, сколько поймут. Для него это, может быть, существенней.